

СИГИЗМУНД
КРЖИЖАНОВСКИЙ

Штрихадунатан катогорни рассуока



Сигизмунд Доминикович Кржижановский

Серый фетр

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=178400
Тринадцатая категория рассудка: Эксмо; М.; 2006
ISBN 5-699-18798-7*

Аннотация

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

Содержание

I	4
II	5
III	8
IV	11
V	12
VI	14
VII	15
VIII	17
IX	20

Сигизмунд Кржижановский

Серый фетр

I

На разгороженных полках – как урны в колумбарии – круглые белые цилиндры. Приказчик, придвинув лестничку, взбежал наверх – и одна из урн с картонным стуком опустилась на прилавок. Приказчик сдул пыль с крышки и отбросил ее на сторону.

– Вот!

В пальцах его вращался, охорашиваясь, серый, цвета су-мерек, фетр: тулья его была охвачена темной лентой: из-под края ее белел номерок. Поймав зрачками одобрителный кивок покупательницы, приказчик выдернул из кармана талонную книжку и отогнул ей листы.

II

Это нельзя было назвать мыслью. Оно было похоже на мысль не более, чем сумерки на ночь. Но всякий раз, когда на извилах мозга появлялось это серое, еще не оконтуренное пятно, все мысли настороженно щетинились, как псы, учувшие шакала. И поэтому серый вползень выбирал время, когда огни сознания в нейронах потушены и ветви дендритов отенены снами. Предмысль осторожно ступала по окрашенным предметным извилинам мозга, не находя нигде себе приюта.

Так было и в эту ночь. Серый вползень, пользуясь тем, что веки мозговладельца наглухо закрыты, прокрался в мозг, замешавшись в толпу идущих из далей в дали переселенцев – снов. Но внезапно мозг ударило голосом, сны бросились врассыпную, и веки распахнулись. Человек, приподнявшись на локте, увидел: женино лицо – поперек лица улыбка – под улыбкой на подогнутых ладонях серый фетр.

– Этак можно проспять свои именины!

Муж провел рукой по срезу полей шляпы.

– Сколько раз я просил! Людям, сделавшим себе имя, все дни именины. Ну, а именины безымянных – это как перчатки для безрукого. Не надо...

– Ты все-таки примерь.

– Наверное, тесная. Ну вот, так и есть. У меня голова, а

не колодка для растягивания шляп. Отставить!

В это утро чайная ложечка громче обычного тыкалась о стекло. Складень газеты остался неразогнутым. Под глазами, наклоненными к желтому чаю, желтелись сердитые мешки, казалось, глаз прячет в них излишки солнца, недвиденные образы, как обезьяна непрожеванную пищу за щеку. Именинник отодвинул стакан и быстро прошел в переднюю. Пальцы его скользнули по вешалочным крючьям, не находя нужного.

– Кой черт! Где моя старая шляпа? Глаша!

Сквозь комнаты сначала топот ног, затем голос:

– Приказано было выбросить.

Именинник, досадливо хмурясь, протянул руку к полке и снял новую шляпу. Он даже вшагнул в комнату, чтобы внимательнее осмотреть подарок: серый обег полей, аккуратно вдавленный суконный пробор и даже шелковый снурок дважды вокруг тульи. Но было что-то в самом прикосновении ворса, в цвете и контуре фетра, заставившее подглазные мешки шевельнуться и выпятить обвись, как если бы в них вложили новый – меж глазом и мозгом перехваченный – образ.

Держа шляпу в руках, человек открыл выходную дверь, и ступеньки закружили его шаги вокруг пролета.

И в это-то время серое пятно, давно уже блуждающее по краинам мозга, внезапно оконтурилось и превратилось в мысль. Точно черной молнией по мозгу. Фетр выпал из рас-

цепленных пальцев, человек нагнулся, поднял, даже механически отер обшлагом шляпу, но весь он был во власти внезапно охватившей его мысли.

Он шел среди раздробии шагов, меж торопящихся оттопыренных портфелями локтей и думал: зачем жить?

Шаги вели его мимо вращающихся на афишных осях букв, мимо серых шин, расталкивающих толпу, сквозь воздух, полный пыли, криков, вони и перекланывающихся шляп, мимо своего отражения, падающего в стекло витрин, на расцифрованную жесь, резину, картон и манекены, и повторял: зачем?

Это было нестерпимо. Все в нем возмущалось, все мысли поднялись против вторгшегося «зачем». Мысль ширилась, как брызг серной кислоты, расползающейся по ткани. Он чувствовал, что власть над собой переходит от него к ней. Кто-то из прохожих, наткнувшись глазами на его лицо, остановился и опасно поглядел вслед. Лоб его облип потом. Стараясь побороть психический спазм, человек, защищая себя от взглядов, быстро надел фетр и низко надвинул поля. В то же мгновение мысль, как нить, выскользнувшая из иглы, выпала из его сознания. Все оборвалось так же внезапно, как и возникло.

III

Человек, растерянно оглядывавший – в поисках причины – пространство вокруг себя и время позади и впереди «сейчас», не догадался лишь сделать одно: заглянуть себе под шляпу.

Любая мозговая извилина, как и линия любого переулка, имеет свою хронику происшествий. Мысли бродят по серой панели мозга то в строю силлогизма, то враздробь, одиночками прохожими; одни из них гнутся под грузом смысла, другие – головами кверху, как пустые колосья. Мысли в голове человека, висящего на телефонном проводе, тоже висят весь день на ассоциативных нитях, переассоциируясь друг с другом. Иные мысли живут одиноко, домоседами своих нейронов. Другие шмыгают по извилинам мозга, предлагая себя к домыслению. К ночи мозгогород, прикрытый черепной макушкой, засыпает. Перекидные лестнички дендритов отдергиваются друг от друга. Мысли засыпают – и только ночные сторожа, сны, бродят по опустелым извилинам мозга.

С рассветом светает и в сознании. Мысли выходят из своих нейроспазмов, прилаживая субъект к предикату. Умозаключение делает утреннюю зарядку: малая посылка чехардно прыгает через большую, большая – через вывод. Проснувшееся мирозерцание созерцает изо всех сил.

Нетрудно себе представить, что произошло, когда в од-

ну из таких солнечных минут, в полном ярком мыслесвете, возник среди подчерепного мирка мыслей сумеркосветный Зачемжить. Зачемжить шел, конфузливо волоча за собой свою тень и стараясь разминуться с неприятными ассоциациями. Но ассоциации тотчас же заметили его и, хмурия свои смыслы, внимательно всматривались вслед Зачемжитьевой походке. Кто-то сказал короткое: «Бей!» – другой кто-то: «Зачем жить Зачемжитю?» Мысли, смыкаясь в толпу, шли позади Зачемжитя, пододвигаясь все ближе и ближе к его шагу. Он попробовал было юркнуть в одну из мозговых извилин, но навстречу ему выставилось несколько сцепившихся руками враждебных ассоциаций. Зачемжить ускорил шаг. Но расстояние между ним и преследующими укорачивалось. Шаг перешел в бег. Мыслетолпа надвигалась, грозя нахлынуть и размыслить в ничто. Зачемжить, напрягая последние силы, свернул в пустынный мозговой извив и добежал до черепной стенки. Преследование не утихало, он слышал близящийся колючий шаг догоняющих мыслей. Надо было решаться. Впереди, поперек височной стены, зигзагился черепной шов. Зачемжить протиснулся в шов и выпрыгнул наружу. Прямо перед ним, прижавшись желтой кожей к коже виска, топырилась фетровая внутритульевая закладка. Беглец, еле переводя дух, впрыгнул меж сукна и кожи и застыл, вслушиваясь в зачерепной шум.

Преследование как будто утихло, оборвавшись там, где-то позади, за стеной лба. Мысль сидела, стараясь не шелох-

нуться в своем убежище. Так произошел единственный в истории мыслестранствий случай: крайняя необходимость заставила идею переселиться из мозга в его окрестности, из головы – в шляпу.

IV

Жена типично изменяла с типичным любовником. У любовника были воротнички 42 и тридцативосьмисантиметровые бицепсы. В юности его мышление было рассеяно более или менее равномерно по всей нервной системе, но затем оно стянулось к четвертому и пятому поясничным позвонкам, заведующим, как известно, сексуальными рефлексами. Любовник полагал, что женщины различаются лишь цветом юбок, в сумерках, кстати, неразличимым. С сумерками он вообще был в дружбе. И когда после энных объятий где-то в прихожей зашуршал английский ключ, любовник нырнул в самый темный угол, ища помощи у сумерек. Совсем недалеко – мимо приоткрытой двери – прошагали знакомые прижимистые шаги. Справа хлопнула створа двери. Любовник, приведя себя в порядок, вышел на цыпочках в прихожую и, разменявшись беззвучным поцелуем, сдернул с вешалочного крюка шляпу. Второпях он не заметил, что шляпа была шляпой мужа. Серый фетр покорно вшершавился меж указательного и большого пальца левой его руки.

V

Любовник шел по уснувшим улицам города, обмахиваясь шляпой. Небо сигнализировало зелеными звездами: путь в жизнь свободен.

Грудь легко вбирала черный воздух. Думалось: как хорошо, что у жизни никакого смысла, как хорошо вот поужинал с женщиной, а там, дома, на столе ждут ветчина и бутылка белого вина, как хорошо, что там где-то кто-то думает за тех вот, тут вот, которым можно не думать. Человек взглянул вперед: навстречу ему близилось взгорбие моста. Огни полнолуночного города хотели утонуть в реке – и не могли; она и ветер колыхали их на черных рябях. Он дошел до середины излучины и нагнулся над мостовым барьером. Сверху ударило легкой россыпью дождевых капель. Надо надеть шляпу. Ну вот, готово.

Зачемжить, почувствовав притиск горячей человеческой кости к коже его временного жилища, зашевелился. Черт побери, он не создан для внечерепных мытарств. Вспомнилось мозговое тепло, мякоть серой коры, уютная глубь мыслевых извилин. Зачемжить, выкарабкавшись из кожаной пазухи, подобрался к теменному шву и осторожно впрыгнул в мозг незнакомца.

Бывают мозги вечно бодрствующие – под нетухнувшими лампами смыслов, – умоцентры, извилины которых пе-

ресекаются, как перекрестки нью-йоркских авеню. Бывают умы тихие, но трудолюбивые, как рыбацкая деревня. Они любят сонные паузы (Декарт спал одиннадцать часов в сутки), но, проснувшись, они забрасывают свои многоузлые mreжи в истину и терпеливо ждут улова. Бывают умы, которые были умами, но обветшали, растратили населявшие их мысли, легли под леты секундных песков, превратились в музейные мозги, редко посещаемые мыслями-туристами. Таким именно был мозг человека, надевшего шляпу с чужим Зачемжитем, запрятанным под кожаную закладку. Мысль, соскучившаяся по мозгу, впрыгнула внутрь чужой головы и стала быстро, с рвением подлинного туриста, обегать все его – самые потаенные – закоулки. Следы Зачемжитя прикоснулись ко всем нейронам, ко всем нервным нитям и перетяжкам. Человек, охватив руками мостовые перила, стоял – лицом в полузатонувшие огни. Меж шляпой и лбом капелился холодный пот. «Зачем жить?» – дернулось с губы, человек нагнулся ниже, потом еще ниже, и всплеск разомкнувшихся огней ответил кратко и холодно на двусловие.

VI

Дедушку Ходовица любили все в округе. Он служил сторожем и водным сигнальщиком в шести километрах. Считая по течению реки. Сегодня, как и вчера, и позавчера, он встал с первой прожелтиной зарей и, закинув удочки за сутулое плечо, спустился по песчаному скосу к берегу реки. Сигнальные знаки – белые и красные свеси на габриэлевой мачте – были в порядке. Наживив червячков, Ходовиц забросил крючки в утреннюю еще спящую воду. Какая-то мелкая рыбешка пошутила со своей смертью, слегка потормошив поплавок, и уплыла вглубь. Через двадцать три минуты надо было быть пароходу из города. Ходовиц нагнулся к удилищам, чтобы проверить червячков. Первое – в порядке. Второе – тоже. Третье – что за черт! – увязло в руке, вытягивая струной свою лесу. Старик потянул крепче: прямо на него плыло что-то серое и круглое с высоким вздольем. Через десяток секунд Ходовиц, удивленно покачивая головой, рассматривал серую измокшую шляпу, снятую с крючка. Чудеса.

VII

Сторож Ходовиц по воскресеньям имел обыкновение заходить за двумя-тремя глотками пива в близлежащую кнайпу. Два-три глотка – это надо понимать, конечно, условно. Над пивной пеной всплывала лопающаяся пустотами пена воспоминаний, дружественные чоки звенели стеклом в стекло, дым из трубок пробовал живьем вознестись на небо. А щеки кельнера – подкумачиться под цвет кумачового передника.

На этот раз старина Ходовиц был встречен особенно торжественно. Десяток кружек почтительно поднялся навстречу вошедшему. Триумф был подготовлен самим триумфатором: тщательно высушенный и выутюженный серый фетр, подаренный ему рекой, городской фетр, который он, не без чувства робости, нес всю дорогу в руках, завернув его в фуляр, сейчас красовался, сверкая графитной лентой, изящно выгнутой тульей и серым шелковым снурком над сединами старика.

В этот день пиво особенно легко булькало сквозь воронки горл. Фетр напозл на виски старику и внимательно слушал тосты и перезвук кружек. Старик пил, отвечал на шутки и поздравления и с каждым глотком становился мрачнее и непонятнее себе самому.

Дело в том, что Зачемжить, промокший и продрогший в

шляпе, в которую он успел выпрыгнуть из мозга утопленника, как выпрыгивают из тонущего судна в спасательную шлюпку, искал тепла человеческой крови и внутричерепного крова. Проникнув – при первом же притиске головы к шляпе – в рыхлый склеротический мозг старика, он тотчас же начал распоряжаться в нем по-своему.

Полужилой, напоминающий селение, через которое прошла чума, мозг старика был не густо населен мыслями-инвалидами и мыслями-пенсионерами. Они получали свою скудную плату одобрения, дружеские похлопывания по плечу, «верно, старина», «расскажи-ка еще раз», но передвигались они на логических костылях, с прихромью и ковыляньем. При виде вторгшегося Зачемжитя нейронные инвалиды запрятались по своим норам, и мозг поступил в полную власть Зачемжитя.

Старик хмуро отодвинул стакан и, несмотря на уговоры, оставил веселую компанию. Он шел домой сквозь ночь и теплые удары ветра, нахлобучивая на лоб неприятно тесную шляпу и бормоча: «Зачем жить?..»

Утренний пароход, подплывший из города, не встретил обычного сигнального огня. Старик висел в петле под потолком сторожки. Снизу, под выгнутыми смертным спазмом пятками, лежал опрокинутый табурет.

VIII

Манко Ходовицу не хватало шести дней до восемнадцати лет. Эти шесть дней нужны были до зарезу. У Манко была невеста, а жениться ранее восемнадцати – день в день – нельзя.

Манко читал по слогам. Но слогов в телеграмме, присланной из большого города (в городах Манко не бывал), было немного, и он овладел их смыслом. Смысл был прост: его дядя, водный сторож у города, о котором он смутно знал по рассказам покойной матери, умер; его, Манко, вызывали в город – получить небольшое, но большое своей неожиданностью наследство. Манко прикинул в своем не слишком поворотливом мозгу: из денег можно сделать избу, купить корову, пожалуй, и лошадь. Все это очень и очень подымет его вес в глазах родителей невесты. С вечерним поездом Манко отправился в город.

Все шло как нельзя лучше. Манко получил деньги, которые он тотчас же запрятал под рубаху в нагрудный мешочек, продал соседу кой-какую утварь в казенной сторожке покойного дяди. Все было в порядке. Поезд через полтора часа. И только уже в минуту ухода, окинув глазом молчаливую сторожку, Манко заметил в углу на деревянном тычке сереющий сквозь серость сумерек фетр. Он сдернул его с тычка и вышел, вжав двери в стену.

Сперва – до города – он нес серую шляпу в руке. Но два-три прохожих, остановившие его словами «Продаешь?», заставили Манко изменить отношение к этой детали наследства. Он снял с головы свой порядком просаленный картуз, сунул его в карман и надел поверх пружинно-упругих черных волос серую франтоватую городскую шляпу. Чем он хуже других! Манко шел к вокзалу, закинув голову и весело посвистывая. Но с каждым шагом его и Зачемжить делал шаг внутри головы, и свинцовая тяжесть опускалась на мозговые излучины парня. У него был нехитрый деревенский мозг. Как деревня тянет череду своих изб вдоль одной улицы, так и мысли парня тянулись одноулично. И тянулись они к одному: к невесте. Но сейчас, пристально вглядываясь сквозь себя, он никак не мог различить ее образа. Между нею и им стоял, корча препоганые рожи, Зачемжить. Манко взял билет, автоматически вшагнул в вагон с деревянными сиденьями, сел.

Рядом, у локтя, кто-то копошился, разузливая сундучные узлы, кто-то выдергивал губами из длинной дудки короткие носовые тюкающие звуки. Женщина напротив Манко, покачав добрым лицом, сказала: «Хорошая шляпа, паренек», – а старик, покопавшись костистой пядью в бело-желтой бороде, прослунявил: «Да сам-то паренек – шляпа». Манко не заметил, как поезд завращал своими осями. Что-то змееносное присосалось к сердцу и жадно заглатывало жизнь. Манко повернул лицо, орошенное потом, к окну: за стеклом бежа-

ли, замахиваясь на него деревянными руками, деревья; грязно-серое облако вползало липким кляпом в глаза. Тоска стала непереносной, как подбирающаяся к горлу рвота. Манко, поднявшись, быстро вышел в тамбур. Под колесами загрохотал мост. За отмельком фермовых решеток – свободный воздух, а снизу – отвесный скат насыпи. Перегнувшись с верхней ступеньки, Манко оторвал левую руку от поручня. Зачем жить?

И в это мгновение – резким ударом ветра – с головы его сорвало шляпу. «Зачем жить?» еще не успело оставить белеющих губ, но Зачемжить, стараясь разминуться со смертью, успел выпрыгнуть в свое ставшее привычным обиталище. Манко висел лишь на сцепе трех пальцев правой руки. Крутым поворотом колес его рвануло вниз, в бездну, – один палец сорвался с поручня, но два еще цеплялись за поручень и жизнь. Нечеловеческим усилием Манко отшатнул свое тело от ската внутрь. Ветер трепал его волосы и бил по раскаленным щекам. Стараясь поймать выпрыгивающее из горла дыхание, он вернулся в вагон. Его встретили сперва недоуменными улыбками, потом смехом: «Шляпу-то! Забрал ветер? Жди, когда ветер отдаст...», и под раздвинутые насмешкой рты Манко весело засмеялся, показывая белую клавиатуру зубов. О, в шляпе ли дело, когда дело в шляпе: вот тут, под рубашкой, топырящиеся деньги, а впереди – любовь, жизнь, рождающая жизнь, и снова любовь.

IX

Между тем шляпа с Зачемжитом, спрятанным за кожаный привисочный ее полог, цепляясь за стебли трав, скатывалась по насыпи вниз...

И пусть себе. Слову моему я, автор, говорю: стоп, ни с места. Новелла эта написана по методу нанизывания. Самый дешевый способ, за который тем не менее почему-то платят построчной платой и читательским вниманием.

Ну куда мог попасть в дальнейшем планирующий Зачемжить: в руки железнодорожного сторожа, пропойцы, превратившего свою жизнь в сплошную зачемжизнь; в руки случайно проезжающего велосипедиста, прикрывшего Зачемжитьевой скоростью свои туристские мозги; в раздевалку летнего театра, где так легко перепутать номерки и тем заставить Зачемжитя еще раз переменить квартиру... И вообще – мало куда. И стоит ли на это тратить воображение?

Важно только одно. Серый фетр, переходя из рук в руки, должен был превратиться – рано ли, поздно ли – в грязный фетр, в старую, заношенную и затертую шляпу, от которой брезгливо отдергиваются все сколько-нибудь уважающие себя лысины и темена. Короче, к последней главе новеллы бывший фетр – с оборванной шелковой нитью, затерханной лентой вокруг тульи и обвислыми полями – попадает – в виде подаяния – к нищему.

Как я ясно вижу последнюю главу меняющего головы фетра! Нищий стоит под зенитным солнцем. Солнце бьет желтыми бичами по его облезлому черепу.

Но по нищенскому этикету не принято надевать шляпу на голову – ее надо держать в руке, протянутой под пятаки.

И бедный Зачемжить, сидя под ударами пятакowych ребер, тщетно мечтает о впрыге в человеческий мозг. Нет, теперь это вряд ли для него возможно, – так, видно, и жить ему, Зачемжитю, под тычками медяков, хлестом солнечных лучей и ударами дождевых капель. И отщепенцу Зачемжитю надо решать – на этот раз уж для себя самого – проблему: зачем жить?